ЕСТЬ ТАКАЯ СТРАНА – *Цыгания!*



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Е 867

Автор проекта, составитель,
автор послесловия и комментариев *Н. Н. Сотников*

Е 867 Есть такая страна – Цыгания! Повести, рассказы, очерки, пьесы, поэмы, песни, стихотворения русских поэтов, прозаиков и драматургов об истории цыган, о цыганских судьбах, о цыганском искусстве / сост. Н. Н. Сотников. – СПб.: Алетейя, 2019. – 568 с.: ил.

ISBN 978-5-907030-80-0

Такого сборника художественных произведений ещё никогда не было. Вместе повести, рассказы, пьесы и очерки, а тем более стихотворения, посвященные цыганам и цыганской жизни, никогда не собирались, не встречались друг с другом. Цыганские мотивы занимают видное место в русской прозе и поэзии, более того, цыганские характеры очень часто не только соперничают с характерами русскими, но и переигрывают их. И в этом не только превосходное мастерство классиков русской литературы, но и объективная реальность: цыгане и цыганки оказываются оригинальнее, колоритнее героев и персонажей и среди дворян, и среди купечества и мещан, и даже среди представителей трудовых слоёв русского народа. В этом загадка не только цыган, но и истории русской литературы.

Послереволюционный период истории литературы в сборнике представлен менее подробно. Лучший роман Анатолия Калинина «Цыган» – весьма объёмное произведение, поэтому мы наших читателей отсылаем в библиотеки. Были причины не только редакционно-издательские, но и правовые, от некоторых произведений заранее пришлось отказаться. Тем радостнее была находка – уникальный рассказ воронежского поэта и прозаика, защитника Ленинграда в годы блокады Михаила Касаткина «Персита» о юной цыганке – отважной и находчивой разведчице.

Завершает сборник послесловие составителя книги Н. Н. Сотникова.

Все тексты публикуются в авторских редакциях. Редкие сокращения особо оговорены.

В оформлении обложки использованы фрагменты картин
«Цыганка с бубном» (1877, худ. Х. П. Платонов)
и «Цыгане у реки. Ярославская губерния» (худ. К. К. Коровин)

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-907030-80-0
9 785907 030800

© Н. Н. Сотников, составление, комментарии, послесловие, 2019
© Н. Н. Ударов, стихи, песни и поэмы, 2019
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

ЭПИГРАФЫ КО ВСЕЙ КНИГЕ

Здравствуй, сча́стливое племя! Узнаю́ твои костры.
А.С. Пушкин

«Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...»
Лев Толстой

«Было время, когда на Руси ни одной музыки не любили больше цыганской, когда цыгане пели русские старинные хоровые песни... Цыганская музыка была у нас в России единственным переходом от музыки народной к музыке учёной... Каждый русский будет сочувствовать цыганской песне, потому что корень её народный».

Лев Толстой

«...Раздались цыганские мелодии, которых власть надо мной всесильна».

Афанасий Фет

«Было, стало быть, какое-то непобедимое стихийное очарование в старинной цыганской песне, очарование, заставляющее людей плакать, безумствовать, восторгаться...»

А.И. Куприн

«В бродячей жизни, среди чужих языков менялись и мешались слова, выпадали строфы, но какой горячей кровью, страстной тоской и пламенной любовью, какой древней первобытной красотой веет от восточной вязи этих песен, подобных красным розам на снегу!»

А.И. Куприн

Спляши, цыганка, жизнь мою!

Александр Блок

Есть в великой поэзии нашей
цыганская нота.

Давид Самойлов

…и молодость моя цыганкой
вдруг станет хаживать ко мне.

Евгений Евтушенко

«Вполне естественно, что я больше всего люблю искусство русских цыган... В цыганской народной песне нас привлекают простота, сила и выразительность, подлинность и глубина отражённого в них сильного чувства, будь то любовь или ревность, прощание или вера, радость жизни или горечь утраты... В песне... почти нет середины: от чрезмерно грустной до неудержимо весёлой, от песни-плача до озорной, и тоже до конца, до полной раскрепощённости, до обнажённого проявления восторга, радости. Если радость, то до предела, до ликования, если грусть, то горькое отчаянье, до стона. Уж такой национальный темперамент нашей песни, что чувства в ней предельно накалены и бьются со всесокрушающей стихийной силой».

«Это поразительно, какой интерес проявляли писатели к этому малому народу».

Николай Сличенко, певец, режиссёр, художественный руководитель единственного в мире московского цыганского театра «Роман», которому в 2011 году исполнилось 80 лет. Восемьдесят лет и – века!..

Судьбы огневые и горевые

Проза и пьеса



И. С. Тургенев

СТРАНИЦЫ «ЗАПИСОК ОХОТНИКА»

ЧЕРТОПХАНОВ И НЕДОПЮСКИН

В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге; Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мёртвые, у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль лёгким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога была ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом… «Э! — заговорил он, — да здесь должны быть тетерева. Слезеmте-ка». Мы остановились и вошли в «площадь». Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружьё, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А па-азвольте узнать, — заговорил он надменным голосом, — по какому праву вы здесь а-ахо-титесь, мюлсвый сдарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо: отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздёрнутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в жёлтый, истасканный архалук с чёрными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь металась под ним как угорелая; две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движенье, всё существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щёки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно из избытка достоинства, — ни дать ни взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос.

— Я не знал, что здесь запрещено стрелять, — отвечал я.

— Вы здесь, милостивый государь, — продолжал он, — на моей земле.

— Извольте, я уйду.

— А па-азвольте узнать, — возразил он, — я с дворянином имею честь объясняться?

Я назвал себя.

— В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину… А зовут меня Чертопхановым, Пантелеем.

Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее; лошадь замотала головой, взви-

лась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил наземь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул её ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты; он за ней на одной ноге вприпрыжку, однако наконец-таки попал в седло; как исступлённый завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я ещё прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти безо всякого шуму, выехал из кустов толстенький человек лет сорока, на маленькой вороненькой лошадёнке. Он остановился, снял с головы зелёный кожаный картуз и тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади? Я отвечал, что видел.

— В какую сторону они изволили поехать? — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза.

— Туда-с.

— Покорнейше вас благодарю-с.

Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой — трюхи, трюхи — по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение; нос, тоже пухлый и круглый, испещрённый синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькие русые косицы; глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали; сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконные его панталончики высоко вздёрнулись; над жёлтыми оторочками сапог виднелись жирненькие икры.

— Кто это? — спросил я Ермолая.

— Это? Недопюскин, Тихон Иваныч. У Чертопханова живёт.

— Что он, бедный человек?

— Небогатый; да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного.

— Так зачем же он у него поселился?

— А, вишь, подружились. Друг без дружки никуда… Вот уж подлинно: куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй…

Мы вышли из кустов; вдруг подле нас «затякали» две гончие, и матерóй беляк покатил по овсам, уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не атукал: он задыхался, захлебывался; из разинутого рта изредка вырывались отрывистые, бессмысленные звуки; он мчался, выпуча глаза, и бешено сёк нагайкой несчастную лошадь. Борзые «приспели»… беляк присел,

круто повернул назад и ринулся, мимо Ермолая, в кусты… Борзые пронеслись. «Бе-е-ги, бе-е-ги! — с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник, — родимый, береги!» Ермолай выстрелил… раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились.

Турманом слетел Чертопханов с коня, выхватил кинжал, подбежал, растопыря ноги, к собакам, с яростными заклинаниями вырвал у них истерзанного зайца и, перекосясь всем лицом, погрузил ему в горло кинжал по самую рукоятку… погрузил и загоготал. Тихон Иваныч показался в опушке. «Го-го-го-го-го-го-го-го!» — завопил вторично Чертопханов… «Го-го-го-го», — спокойно повторил его товарищ.

— А ведь, по-настоящему, летом охотиться не следует, — заметил я, указывая Чертопханову на измятый овёс.

— Моё поле, — отвечал, едва дыша, Чертопханов.

Он отпазончил, второчил зайца и роздал собакам лапки.

— За мною заряд, любезный, по охотничьим правилам, — проговорил он, обращаясь к Ермолаю. — А вас, милостивый государь, — прибавил он тем же отрывистым и резким голосом, — благодарю.

Он сел на лошадь.

— Па-азвольте узнать… забыл… имя и фамилию?

Я опять назвал себя.

— Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне… Да где же этот Фомка, Тихон Иваныч? — с сердцем продолжал он, — без него беляка затравили.

— А под ним лошадь пала, — с улыбкой отвечал Тихон Иваныч.

— Как пала? Орбассан пал? Пфу, пфить!.. Где он, где?

— Там, за лесом.

Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. Тихон Иваныч поклонился мне два раза — за себя и за товарища, и опять поплёлся рысцой в кусты.

Эти два господина сильно возбудили моё любопытство… Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа, столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал.

Чертопханов, Пантелей Еремеич, слыл во всём околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Служил он весьма недолгое время в армии и вышел в отставку «по неприятности», тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица.* Происходил

* И. С. Тургенев намекает на расхожее выражение «*Курица — не птица, прапорщик — не офицер*». Не менее популярным было выражение «*Жена прапора — да не барыня!*» Авторитет прапорщиков поднялся в годы Первой мировой войны. Затем всё это возродилось в 70-е годы XX века при

он от старинного дома, некогда богатого; деды его жили пышно, по-степному, то есть принимали званых и незваных, кормили на убой, отпускали по четверти овса чужим кучерами на тройку, держали музыкантов, песельников, гаеров и собак, в торжественные дни поили народ вином и брагой, по зимам ездили в Москву на своих, в тяжёлых колымагах, а иногда по целым месяцам сидели без гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремеича досталось имение уже разорённое; он в свою очередь тоже сильно «пожуировал» и, умирая, оставил единственному своему наследнику, Пантелею, заложенное сельцо Бессоново с тридцатью пятью душами мужеска и семидесятью шестью женска пола да четырнадцать десятин с осьминником неудобной земли в пустоши Колобродовой, на которые, впрочем, никаких крепостей в бумагах покойника не оказалось. Покойник, должно сознаться, престранным образом разорился: «хозяйственный расчёт» его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных «разбойников», как он выражался; он завёл у себя всевозможные ремёсла и мастерские. «И приличнее и дешевле, — говаривал он, — хозяйственный расчёт!» С этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался; она-то его и разорила. Зато потешился! Ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды, по собственным соображениям, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась. Еремей Лукич (Пантелеева отца звали Еремеем Лукичом) приказал памятник поставить на косогоре, а впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжёг целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губернский собор, вывел стены, начал сводить купол: купол упал. Он опять — купол опять обрушился; он третий раз — купол рухнул в третий раз. Призадумался мой Еремей Лукич: дело, думает, неладно… колдовство проклятое замешалось… да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли — а купол все-таки не свели. Избы крестьянам по новому плану перестраивать начал, и всё из хозяйственного расчета; по три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал: то из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лён собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами… Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статейку харьковского помещика Хряка-Хрупёрского о пользе нравственности в крестьянском быту и на другой же день отдал приказ всем крестьянам немедленно выучить статью харьковского

Л. И. Брежневе. Возрождённые прапорщики были на хозработах и никакими полуротами уже не командовали.

помещика наизусть. Крестьяне выучили статью; барин спросил их: понимают ли они, что там написано? Приказчик отвечал, что как, мол, не понять! Около того же времени повелел он всех подданных своих, для порядка и хозяйственного расчета, пронумеровать и каждому на воротнике нашить его нумер. При встрече с барином всяк, бывало, так уж и кричит: такой-то нумер идет! а барин отвечает ласково: ступай с богом!

Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчёт, Еремей Лукич понемногу пришёл в весьма затруднительное положение: начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил; последнее прадедовское гнездо, село с недостроенною церковью, продала уже казна, к счастью, не при жизни Еремея Лукича, — он бы не вынес этого удара, — а две недели после его кончины. Он успел умереть у себя в доме, на своей постели, окружённый своими людьми и под надзором своего лекаря; но бедному Пантелею досталось одно Бессоново.

Пантелей узнал о болезни отца уже на службе, в самом разгаре вышеупомянутой «неприятности». Ему только что пошёл девятнадцатый год. С самого детства не покидал он родительского дома и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, вырос баловнем и барчуком. Она одна занималась его воспитанием; Еремею Лукичу, погружённому в свои хозяйственные соображения, было не до того. Правда, он однажды собственноручно наказал своего сына за то, что он букву «*рцы*» выговаривал «*арцы*», но в тот день Еремей Лукич скорбел глубоко и тайно: лучшая его собака убилась об дерево. Впрочем, хлопоты Василисы Васильевны насчёт воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием: в поте лица наняла она ему в гувернёры отставного солдата из эльзасцев, некоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала как лист перед ним: ну, думала она, коли откажется — пропала я! куда я денусь? Где другого учителя найду? Уж и этого насилу-насилу у соседки сманила! И Биркопф, как человек сметливый, тотчас воспользовался исключительностью своего положения: пил мёртвую и спал с утра до вечера. По окончании «курса наук» Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась за полгода до этого важного события, от испуга: ей во сне привиделся белый человек верхом на медведе. Еремей Лукич вскоре последовал за своей половиной.

Пантелей, при первом известии о его нездоровье, прискакал сломя голову, однако не застал уже родителя в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедняка! Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями, — богатых он стыдился, бедных гнушался, — и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями: я, мол, столбовой дворянин. Раз

чуть-чуть не застрелил станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти, с своей стороны, ему тоже не спускали и при случае давали себя знать; но всё-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался… «А ва-ва-ва-ва-ва, — лепетал он, — пропадай моя голова!» … И хоть на стену! Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в чём. Никто к нему, разумеется, не ездил … и при всем том душа в нём была добрая, даже великая по-своему: несправедливости, притеснения он вчуже не выносил; за мужиков своих стоял горой. «Как? — говорил он, неистово стуча по собственной голове, — моих трогать, моих? Да не будь я Чертопханов… ».

Тихон Иваныч Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремеичу, гордиться своим происхождением. Родитель его вышел из однодворцев и только сорокалетней службой добился дворянства. Господин Недопюскин-отец принадлежал к числу людей, которых несчастье преследует с ожесточением неослабным, неутомимым, с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых шестидесяти лет, с самого рождения до самой кончины, бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям; бился как рыба об лёд, недоедал, недосыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой, действительно «невинно» пострадал по службе и умер наконец не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца на угонках. Человек он был добрый и честный, а брал взятки — «по чину» — от гривенника до двух целковых включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная; были и дети; к счастию, они все скоро померли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванию «купецкая щеголиха», вышедшей, после многих печальных и смешных приключений, за отставного стряпчего. Господин Недопюскин-отец успел было ещё при жизни поместить Тихона заштатным чиновником в канцелярию; но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника — всё это ежедневное, непрерывное горе развило в Тихоне робость неизъяснимую: при одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птичка. Он бросил службу. Равнодушная, а может быть и насмешливая, природа влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь с их положением в обществе и средствами; с свойственною ей заботливостию и любовию вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое — существо, исключительно обращенное к наслаждению, одарённое чрезвычайно тонким обонянием и вкусом… вылепила, тщательно отделала и — предоставила своему произведению вырастать на

кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение, начало, как говорится, «жить». Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина-отца, принялась и за сына: видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе; она не мучила его — она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России, из Великого Устюга в Царево-Кокшайск, из одной унизительной и смешной должности в другую: то жаловала его в «мажордомы» к сварливой и желчной барыне-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скряге-купцу, то определяла в начальники домашней канцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то производила в полудворецкие, полушуты к псовому охотнику… Словом, судьба заставила бедного Тихонка выпить по капле и до капли весь горький и ядовитый напиток подчинённого существования. Послужил он на своём веку тяжёлой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства… Сколько раз, наедине, в своей комнатке, отпущенный наконец «с богом» натешившейся всласть ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком, попытать своего счастия в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице. Да, во-первых, силы бог не дал; во-вторых, робость разбирала, а в-третьих, наконец, как себе место выхлопотать, кого просить? «Не дадут, — шептал, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели, — не дадут!» И на другой день снова принимался тянуть лямку. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его хоть малой толикой тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шкуре навыворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расходившихся арапников; выставленный нагишом на двадцатиградусный мороз, он иногда простужался, желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошеных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведает, что бы сталось с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший откупщик, не вздумал в весёлый час приписать в своём завещании: а Зёзе (Тихону тож) Недопюскину предоставляю в вечное и потомственное владение благоприобретённую мною деревню Бесселендеевку со всеми угодьями. Несколько дней спустя благодетеля, за стерляжьей ухой, прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, сунн нагрянул, опечатал имущество, как следует. Съехались родные; раскрыли завещание; прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскин. Бóльшая часть собрания знала, какую должность Тихон Иваныч занимал при благодетеле: оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посыпались ему навстречу. «Помещик, вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того, — подхватил один, известный шутник и остряк, — вот уж точно, можно сказать… вот уж действительно…

того… что называется… того… наследник». И все так и прыснули. Недопюскин долго не хотел верить своему счастию. Ему показали завещание — он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собранья превратился в густой и слитный рёв. Деревня Бесселендеевка состояла всего из двадцати двух душ крестьян; никто о ней не сожалел сильно, так почему же, при случае, не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамыч Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь, — заговорил он презрительно-небрежно, — состояли у почтенного Феодора Феодорыча в должности потешного, так сказать, прислужника?» Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли; остряк снисходительно улыбнулся. Господин Штоппель потёр себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамыч язвительно прищурился.

— Поздравляю вас, милостивый сударь, поздравляю, — продолжал он, — правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом зарррабатывать себе насущный хлеб; но de gustibus non est disputandum, то есть у всякого свой вкус… Не правда ли?

Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга.

— Скажите, — подхватил господин Штоппель, сильно поощрённый улыбками всего собрания, — какому таланту в особенности вы обязаны своим счастием? Нет, не стыдитесь, скажите; мы все здесь, так сказать, свои, en famille. Не правда ли, господа, мы здесь en famille?

Наследник, к которому Ростислав Адамыч случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй, вуй, разумеется».

— Может быть, — снова заговорил господин Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?

Недопюскин с тоской поглядел кругом — все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия.

— Или, может быть, вы умеете петь, как петух?

Взрыв хохота раздался кругом и стих тотчас, заглушенный ожиданием.

— Или, может быть, вы на носу…

— Перестаньте! — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. — Как вам не стыдно мучить бедного человека!

Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на

родственный съезд. Во всё время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих.

— Перестаньте, — повторил он, гордо закинув голову.

Господин Штоппель быстро обернулся, и, увидав человека бедно одетого, неказистого, вполголоса спросил у соседа (осторожность никогда не мешает):

— Кто это?

— Чертопханов, не важная птица, — отвечал ему тот на ухо.

Ростислав Адамыч принял надменный вид.

— А вы что за командир? — проговорил он в нос и прищурил глаза. — Вы что за птица, позвольте спросить?

Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыханье.

— Дз-дз-дз-дз, — зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел: — Кто я? кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин, мой прапращур царю служил, а ты кто?

Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора.

— Я птица, я, я птица … * О, о, о!..

Чертопханов ринулся вперед; Штоппель отскочил в большом волнении, гости бросились навстречу раздражённому помещику.

— Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок!** — кричал рассвирепевший Пантелей, — или проси извинения у меня, да и у него…

— Просите, просите извинения, — бормотали вокруг Штоппеля встревоженные наследники, — он ведь такой сумасшедший, готов зарезать.

— Извините, извините, я не знал, — залепетал Штоппель, — я не знал …

— И у него проси! — возопил неугомонный Пантелей.

— Извините и вы, — прибавил Ростислав Адамыч, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал как в лихорадке.

Чертопханов успокоился, подошёл к Тихону Иванычу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно, среди глубокого молчания, вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретённой деревни Бесселендеевки.

С того самого дня они уже более не расставались. (Деревня Бесселендеевка отстояла всего на восемь вёрст от Бессонова.) Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихон склонялся в прах перед безбоязненным и бескорыст-

---

* Ситуация до удивления напоминает ту, которую нам поведал Н. В. Гоголь, повествуя о дружбе-ненависти Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, только там — Украина, а здесь — центр России.

** Скорее всего, речь идёт о неприцельной стрельбе.

ным Пантелеем. «Лёгкое ли дело! — думал он иногда про себя, — с губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит… вот те Христос — так и смотрит!»

Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, учёным. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, всё же, в сравнении с воспитанием Тихона, оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев: «Vous parlez français, monsieur?*» — отвечал: «Жэ не разумею. — И, подумав немного, прибавил: — Па»; но всё-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Мерлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком…

Несколько дней спустя после первой моей встречи с обоими приятелями отправился я в сельцо Бессоново к Пантелею Еремеичу. Издали виднелся небольшой его домик; он торчал на голом месте, в полуверсте от деревни, как говорится, «на юру», словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырёх ветхих срубов разной величины, а именно: из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе: ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засорённого колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно Орбассана; один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнажённые рёбра. Подле лошади стоял малый лет семнадцати, с пухлым и жёлтым лицом, одетый казачком и босоногий; он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка подстёгивал арапником самых алчных.

— Дома барин? — спросил я.

— А господь его знает! — отвечал малый. — Постучитесь.

Я соскочил с дрожек и подошёл к крыльцу флигеля.

Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный: брёвна почернели и высунулись вперед «брюхом», труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись, небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой, нахлобученной крыши: у иных старух потаскушек бывают такие глаза. Я постучался; никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова:

— Аз, буки, веди; да ну же, дурак, — говорил сиплый голос, — аз, буки, веди, глаголь… да нет! глаголь, добро, есть! есть!.. Ну же, дурак!

Я постучался в другой раз.

---

* «Вы говорите по-французски, сударь?» *(франц.)*

Тот же голос закричал:

— Войди, — кто там…

Я вошёл в пустую маленькую переднюю и сквозь растворённую дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких широварах и красной ермолке сидел он на стуле, одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а другой держал кусок хлеба над самым его носом.

— А! — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места, — очень рад вашему посещенью. Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь… Тихон Иваныч, — прибавил он, возвысив голос, — пожалуй-ка сюда. Гость приехал.

— Сейчас, сейчас, — отвечал из соседней комнаты Тихон Иваныч. — Маша, подай галстук.

Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покороблённого стола на тринадцати ножках неравной длины до четырёх продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели; давным-давно выбеленные стены, с синими пятнами в виде звёзд, во многих местах облупились; между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья; с потолка спускались толстые и чёрные нити паутин.

— Аз, буки, веди, глаголь, добро, — медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул: — Есть! есть! есть!.. Экое глупое животное!.. есть!..

Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот; он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и турился, словно говорил про себя: известно, воля ваша!

— Да ешь, на! пиль! — повторял неугомонный помещик.

— Вы его запугали, — заметил я.

— Ну, так прочь его!

Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошёл, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорблённый. И действительно: чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают.

Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и господин Недопюскин вошёл, приятно раскланиваясь и улыбаясь.

Я встал и поклонился.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — залепетал он. Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату.

— Давно вы пожаловали в наши Палестины? — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и, для приличья, подержав пальцы перед губами.

— Другой месяц пошёл.

— Вот как-с.

Мы помолчали.

— Приятная нонеча стоит погода, — продолжал Недопюскин и с благодарностью посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела, — хлеба́, можно сказать, удивительные.

Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять промолчали.

— Пантелей Еремеич вчера двух русаков изволили затравить, — не без усилия заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор, — да-с, пребольших-с русаков-с.

— Хорошие у господина Чертопханова собаки?

— Преудивительные-с! — с удовольствием возразил Недопюскин, — можно сказать, первые по губернии. (Он пододвинулся ко мне.) Да что-с! Пантелей Еремеич такой человек! Что только пожелает, вот что только вздумает — глядишь, уж и готово, всё уж так и кипит-с. Пантелей Еремеич, скажу вам …

Чертопханов вошёл в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал на него глазами, как бы желая сказать: вот вы сами убедитесь. Мы пустились толковать об охоте.

— Хотите, я вам покажу свою свору? — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа.

Вошёл дюжий парень в нанковом кафтане зелёного цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами.

— Прикажи Фоме, — отрывисто проговорил Чертопханов, — привести Аммалата и Сайгу, да в порядке, понимаешь?

Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределённый звук и вышел. Явился Фомка, причёсанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я, ради приличия, полюбовался глупыми животными (борзые все чрезвычайно глупы). Чертопханов поплевал Аммалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади поласкал Аммалата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать; выраженье лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина …

— Э! — воскликнул он вдруг, — что ей там сидеть одной? Маша! а Маша! поди-ка сюда.

Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было.

— Ма-а-ша, — ласково повторил Чертопханов, — поди сюда. Ничего, не бойся.

Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет двадцати, высокую и стройную, с цыганским смуглым лицом, изжелта-карими глазами и чёрною как смоль косою; большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье; голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины её тонкие, породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.

— Вот, рекомендую, — промолвил Пантелей Еремеич, — жена не жена, а почитай что жена.

Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне понравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щёки — все черты её лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков — признак крови и силы.

Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличить её смущения и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала исподлобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взор её так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало её лицу не то кошачье, не то львиное выражение…

«О, да ты «не тронь меня»», — подумал я, в свою очередь украдкой посматривая на её гибкий стан, впалую грудь и угловатые, проворные движения.

— А что, Маша, — спросил Чертопханов, — надобно бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?

— У нас есть варенье, — отвечала она.

— Ну, подай сюда варенье, да уж и водку кстати. Да послушай, Маша, — закричал он ей вслед, — принеси тоже гитару.

— Для чего гитару? Я петь не стану.

— Отчего?

— Не хочется.

— Э, пустяки, захочется, коли…

— Что? — спросила Маша, быстро наморщив брови.

— Коли попросят, — договорил Чертопханов не без смущения.

— А!

Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу её ещё виднелась морщинка; обе брови поднимались и опускались, как усики у осы… Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумал я, быть грозе. Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряжённо улыбался; Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза; я уже собирался уехать… Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлёпнулась наземь. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала; Чертопханов тоже засмеялся, Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией… воздух очистился.

Полчаса спустя нас бы никто не узнал: мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех, — Чертопханов так и подирал её глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензор выполз из-под прилавка в передней, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Её голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал … Любо и жутко становилось на сердце. «Ай жги, говори!..» Чертопханов пустился в пляс. Недопюсикин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводило, как берёсту на огне; тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможенье, словно неохотно щипала струны, и Чертопханов останавливался, только плечиком подёргивал да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец; то снова заливалась она как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертелся юлой, вскрикивал: «Жива!»..

— Живо, живо, живо, живо! — скороговоркой подхватывал Недопюскин.

Поздно вечером уехал я из Бессонова …

1849

КОНЕЦ ЧЕРТОПХАНОВА

Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеича начались его бедствия — именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастия случались с ним и до того времени, но он не обращал на них внимания и «царствовал» по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное: Маша рассталась с ним.

Что заставило её покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, — сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр, по прозвищу Яфф, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал; но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома.

Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, — и хоть бы слово кому промолвила — всё только глазами поводила, да задумывалась, да подпрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой «стих» и прежде на неё находил, но никогда долго не продолжался; Чертопханов это знал, — а потому и сам не беспокоился и её не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие «окочурились», он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфиевна велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернутся, — Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой — да кстати захватил с собой пистолет.

Он нагнал её в двух верстах от своего дома, возле берёзовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном, — и всё кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля.

— К Яффу! к Яффу! — простонал Чертопханов, как только завидел Машу. — К Яффу! — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге.

Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиною к свету — и казалась вся чёрная, словно из тёмного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза — зрачки — ещё более потемнели.

Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки.

— К Яффу отправилась, негодница! — повторил Чертопханов и хотел было схватить её за плечо, но, встреченный её взглядом, опешил и замялся на месте.

— Не к господину Яффу я пошла, Пантелей Еремеич, — ответила Маша ровно и тихо, — а только с вами я уже больше жить не могу.

— Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?

Маша покачала головою:

— Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеич, а только стосковалась я у вас… За прошлое спасибо, а остаться не могу — нет!

Чертопханов изумился; он даже руками себя по ляжкам хлопнул и подпрыгнул.

— Как же это так? Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала — и вдруг: стосковалась! Сём-мол, брошу я его! Взяла, платок на голову накинула — да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни…

— Этого мне хоть бы и не надо, — перебила Маша.

— Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала — да не надо? Как не надо, хамово ты отродье? Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена.

Он опять зашипел.

— Никакой измены у меня в мыслях нету и не было, — проговорила Маша своим певучим и чётким голосом, — а я уж вам сказывала: тоска меня взяла.

— Маша! — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком, — ну, перестань, полно, помучила… ну, довольно! Ей-богу же! подумай только, что Тиша скажет; ты бы хоть его пожалела!

— Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему…

Чертопханов взмахнул руками.

— Да нет, врёшь же — не уйдёшь! Не дождётся тебя твой Яфф!

— Господин Яфф, — начала было Маша…

— Какой он *гас-па-дин* Яфф, — передразнил её Чертопханов. — Он самый, как есть, выжига, пройдоха — и рожа у него, как у обезьяны!

Целых полчала бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на неё, то кланялся ей в пояс, плакал, бранился…

— Не могу, — твердила Маша, — грустно мне таково… Тоска замучит. — Понемногу её лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил её, уж не опоили ли её дурманом?

— Тоска, — проговорила она в десятый раз.

— А ну как я тебя убью? — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана.

Маша улыбнулась; её лицо оживилось.

— Что ж? убейте, Пантелей Еремеич: в вашей воле; а вернуться я не вернусь.

— Не вернёшься? — Чертопханов взвёл курок.

— Не вернусь, голубчик. Ни в жизни не вернусь. Слово моё крепко.

Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю.

— Ну, так убей *ты* меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылел я тебе — и всё мне стало постыло.

Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и пододвинулась к нему.

— Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестёр цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужудальню сторонушку — где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни — другой такой подруги тебе не найти, — и я тебя не забуду, сокола моего; а жизнь наша с тобой кончена!

— Я тебя любил, Маша, — пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо…

— И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеич!..

— Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти — и как подумаю я теперь, что ты этак, ни с того ни с сего, здорово живёшь, меня покидаешь да по свету скитаться станешь, — ну, и представляется мне, что, не будь я голяк горемычный, не бросила ты бы меня!

На эти слова Маша только усмехнулась.

— А ещё бессеребреницей меня звал! — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу.

Он вскочил на ноги.

— Ну, хоть денег у меня возьми — а то как же так без гроша? Но лучше всего: убей ты меня! Сказываю я тебе толком: убей ты меня зараз!

Маша опять головою покачала:

— Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?

Чертопханов дрогнул.

— Так ты только из-за этого, из-за страха каторги…

Он опять повалился на траву. Маша молча постояла над ним.

— Жаль мне тебя, Пантелей Еремеич, — сказала она со вздохом, — человек ты хороший… а делать нечего: прощай!

Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя.

— Так ты уходишь, змея? К Яффу!

— Прощай! — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла.

Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил… Но прежде чем пожать пружинку курка, он дёрнул рукою кверху: пуля прожужжала над головою Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо — и отправилась дальше, вразвалочку, словно дразня его.

Он закрыл лицо — и бросился бежать…

Но он не отбежал ещё пятидесяти шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. «*Век юный, прелестный*», — пела она; каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе — жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил; то замирал, то опять набегал чуть слышной, но всё ещё жгучей струйкой…

«Это мне она в пику, — подумал Чертопханов; но тут же простонал: — Ох нет! это она со мною прощается навеки», — и залился слезами.

1872

В. И. Даль

БЕЛОКУРАЯ ЦЫГАНКА

Рассказ

Верстах в двенадцати от Одессы есть немецкая колония на берегу моря, и туда выбирается из города на лето до 35-и семей местных жителей и приезжих, для купанья в море и чтоб уйти от нестерпимой жары и пыли. Колония эта, которая немцами называется *Люстдорф*, переиначена русскими в *Люстру* и под этим названием известна во всём округе. Невдалеке от неё лежит селение местных жителей, смеси русских с малороссиянами, Большой Фонтан; по другую сторону Люстры селеньице, Бурлацкая-Балка, где поселился всякий сброд, так называемые мещане; подальше, на Лимане, поселены греки, арнауты и ещё немцы, но католики, тогда как люстровские — лютеране.

На этом пространстве всегда можно найти кочующих цыган. Если семья этих природных ковалей, кузнецов, найдёт в деревне много работы и зазимует там, то им иногда отводят порожнюю избу. Цыгане от этого в дурную погоду не отказываются, но тотчас же делают в хате некоторые хозяйственные изменения, для больших житейских удобств: окна и двери выставляются вон, какова бы ни была погода; без этого цыгану душно.

Впрочем, походная кузница разбивается обыкновенно в чистом поле, за селом, и, заключая в себе также общеё жильё всего цыганского семейства, состоит из ветхого шатра, который одним краем примыкает вплоть к земле, между тем, как другой не доходит до земли на аршин: зад загорожен повозкой, а перед открыт. Шатёр этот становится плотной стороной, смотря по времени года, то против солнца, то против дождя и ветра.

Поляна между селением и кабаком, по направлению к морю, ничем не была занята, когда мы вечером по ней прогуливались, а рано утром стояло там два шатра из задымлённого, чёрного отрепья. Это было в понедельник, который, как уверяют, празднуется цыганами вместо воскресенья, и близость шинка, по-видимому, была очень кстати: три цыгана пошатывались в дверях этого заведения, размахивая руками и наклоняя в раздумье головы, не зная сами, куда они идут или намерены идти, в шинок ли, или из шинка. Вскоре явились три цыганки, конечно жёны их, а за ними целая толпа ребятишек, из которых большие тащили меньших нагишом, и притом не так, как обыкновенно носят на руках грудных детей, а перевалив их через себя как ни попало, и придерживая их также за что ни попало, за руку или за ногу. Бабы взяли мужиков своих под руки и вывели из шинка, убеждая их идти домой. Но тут, на чистом воздухе, одним из цыган овладела охота поплясать; он стряхнул с себя навязчивую бабу и, приподняв руки, долго при-

лаживался и примерялся, но как-то не мог справиться с ногами. Весёлое расположение его перешло и на двух его товарищей: и те также пустились в пляску, или, по крайней мере, порывались к тому всеми силами, между тем, а жёны их хватали своих мужей то за руку, то за одежду, бранились и растаскивали их врознь. Наконец, пляска их кончилась, бабы нахлобучили на мужей своих шапки, и каждая потащила друга своего в табор. Одна из цыганок привлекла при этом случае на себя особенное наше внимание: она была белокура; одежда на ней была та же, как и на прочих, и как носят все волошские и бессарабские цыганки: шерстяная, полосатая юбка, такой же пояс, в ладонь ширины, на голове платок, повязанный по-цыгански, то есть, свисший одним углом по спине; на плечах рубашка, ноги босые, а из-под платка расстилаются всклоченные космы, — но волосы эти были светло-русые, тогда как всякому известно, что у цыган волосы чёрные, как смоль.

Мы посмотрели за нею вслед, и, занявшись предположениями на счёт этой необычайности, пошли своим путём. На следующий день, проходя к морю мимо небольшого цыганского табора, мы заглянули под шатры. В глубине, подле телеги, была вырыта небольшая круглая ямка, над которой стоял столик, всего в четверть вышины; русая молодая хозяйка со старухой, настоящей ведьмой, сидели за этим столов, поставив ноги в ямку и кроили что-то из ряднины, если не из старого мешка. Ножницы, без сомнения, домашнего изделия, были вроде тех, которыми стригут овец. В стороне, более напереди, другая ямка, кузнечный горн, с парою бесконечно-заплатанных мехов, которыми работала девка, покачиваясь из стороны в сторону, между тем, а хозяин ковал что-то на наковальне, поставленной в са́мой середине шатра. По сторонам валялись ребятишки, из которых один играл привязанною на нитке мёртвою чайкой. Приход наш оживил всё население двух намётов: бабы стали нагло клянчить и канючить и тотчас же выгнали всех ребятишек в пляску: замечательно, что у всех был хороший слух, дикие песни их не оскорбляли уха. Только пожилые мужчины, хозяева, сохранили при этом позорище степенность свою, подавая вид будто не заботились о том, что вокруг их делалось; а белокурая цыганка была молчаливее и скромнее прочих.

Вечером мы сидели в деревне дома, в палисаднике, и пили чай, а увидев знакомцев наших, старую цыганку и белокурую, которые обходили все дворы и собирали подаяние. Старуха навьючила молодую шерстяною, полосатою перемётною сумой, которая была уж порядочно набита картофелем и хлебом; старуха выпрашивала подаяние, а молодая носила ношу. Они подошли по очереди домой и к нам. Разглядев поближе белокурую, мы ещё более убедились, что это не может быть цыганка, и любопытство наше было сильно возбуждено. Два-три вопроса ничего не решили; русая цыганка молчала, или отвечала одним словом, а ведьма говорила за троих, рассыпаясь в похвалах и пожеланиях, и выпрашивая всё, что только попадалось ей на глаза.

«Подай милостиньки, Христа ради», говорила она с резким ударением своим на каждом слове: «и богат будешь, и хорош, и дети будут большие… подай, добра паня, оброк подушный платить, вот у неё» — указывая на молодую — «два маленьки близнятка… ». У всех цыганок, как известно, есть близнята; по крайней мере, они в том уверяют вас, когда просят подаяния.

Взяв поданный ей хлеб, старуха успела разглядеть, что на столе есть сахар, и продолжала просить, для близнят же, по кусочку сахару. Когда он получила его, то стала осведомляться, нет ли старенького платьица, отопочков, паголенков или других каких обносков? Я показал ей серебряную монету и глаза у неё заискрились как у волка; но я не дал ей денег, а обещал дать, если молодая расскажет всю правду, как она попала в цыганки. После продолжительной божбы, что белокурая родилась в таборе и настоящая цыганка, старуха жадно протянула руку — но я положил монету в карман. Русая всё молчала, но по приёмам старухи видно было, что она решилась добыть деньгу во что бы ни стало, и потому я настаивал, уверяя её при том, что я не сыщик и не доносчик, и спрашиваю из одного только любопытства, но даром денег не отдам. «Она полька,» — сказала наконец старуха, «из Польши; она сама к нам пришла, давно; есть нечего было, голод, а она мала была, сирота — и пристала.» Я хотел слышать все подробности этого от неё самой; старуха поощряла её к рассказу, повторяя по-своему: говори, говори! Но белокурая робко цедила слово за словом сквозь зубы и не хотела разговориться. Я отдал двугривенный старухе и велел ей идти своим путём. Она было снова окинула всё глазом и стала просить ещё хлебца с маслом, ещё старый платочек и рубашку. Прогнав её, я напоил молодую чаем, зазвав её во двор, и наконец, не без труда, заставил рассказать её похождения.

Она точно была полька, помнила отчий дом только очень тёмно, но уверяла, что у них были павлины и золотые воробьи, т. е. канарейки, и была также прислуга, из которой она одного помнила по имени. Она помнила также, что отец езжал на охоту с собаками; начав в раздумьи щупать и поглаживать рукой бархатную кацавейку на жене моей, она как будто припомнила какой-то давнишний сон и сказала наконец, что у матери было точно такое платье, которое малютка любила гладить рукой; наконец, она думает, что у неё были старшие братья, а более ничего не помнит. «Мала была» продолжала она, пожимая плечами: «ничего не знаю. Сад был у нас, и груши были; помню а старший брат, — должно быть, что брат — лазил на дерево и тряс груши, а я собирала. Больше ничего не помню» повторила она. «Пришла беда, стали поляки биться с русскими — и этого я ничего не знала, только помню, что все бранили и боялись москалей. Пришло к нам войско конное, что собиралось на москалей; храбровали они всю ночь, песни пели, вино пили, а на улицах разложили огни; помню, как я стояла с бабой за воротами, слушала и смотрела, и баба учила меня бранить москалей. Вдруг со

всех сторон стали палить, все бросились бежать; сделалась такая давка, что баба насилу втащила меня в хату: по улицам все стреляли; в доме, вокруг меня, кричали, плакали, молились и бранились; видно, отец и братья также бились на улицах, в доме их не помню; хата наша загорелась, солдаты набежали — больше ничего не знаю; а я вышла, что со мною было, ничего не помню — мала была, глупа.

Все хаты горели. И ночь пришла, и день пришёл, они всё ещё горели, а я сидела в саду и плакала. Один ли вечер настал, два ли, не помню, а я всё одна сидела в саду, всё хотела в хату, а хаты нет и людей нет ни одного. Я ела груши, да сырую пшонку, и всё плакала; а дым меня чуть не задушил. Я пошла бродить, сама не зная, где и куда, всё бежала по дороге и плакала; повстречались мне москали (солдаты) — дали хлеба сухого и напоили водой, пожалели меня, а сами пошли дальше. Я сперва бежала за ними следом, потом утомилась, села и уснула на месте; а там встала, да опять побежала дальше и пришла к добрым людям; они стояли в поле, как мы теперь стоим, и их никто не трогал, ни москали, ни поляки; им было не страшно: хаты нема у них, скарбу нема, одна лошадёнка, да и та такая, что никому не годится — и не страшно. Я пришла к ним; они накормили меня, спрашивали, откуда я, хотели отвести домой — я ничего не знаю, только плачу.

Пошли они на другое место, и меня взяли с собой; опять меня спрашивали, много, не знаю ничего, только плачу. Так они пошли, а я всё с ними же, — так и пристала к ним и осталась при них.

— Ну, а дальше что было, когда стала ты подрастать?

— А дальше всё ничего не помнила, не знала чья я; стала цыганка. Когда я выросла, так отдали меня замуж за своего; вот и живём.

— Как же тебя, бедную, замуж отдали? Приневолили?

— Нет! Зачем? Неволи нет. Сказали, что пора, и пошли на Днестр: там, сказали, будет муж, и пришли, посмотрели: «Такой годится тебе»? — спросил. Что ж, коваль, молодой, чоботы есть свои, отец ятку (шатёр) даёт — годится. И отдали.

— Как же вас венчали? — спросил я; но она не поняла меня, и я с трудом растолковал ей свой вопрос.

— Нет этого у нас, — сказала она, махнув рукой: — так отдали.

— А праздник был?

— Праздник был; пили вино, и песни пели, а старухи плясали.

— Отчего же старухи, а не молодые?

— Молодицам у нас не хорошо плясать, а старухам можно.

— И дети есть у тебя?

— Есть, трое.

— Белые или чёрные?

Она засмеялась и отвечала:

— Всякие есть, и белые, и чёрные; один черноволосый, а двое сами чёрные, а волосы белые.

— Была ли ты когда-нибудь после опять на своей родине?

— А бог знает, может быть, и была, коли ж я её не знаю; Польша велика, а я была мала, глупа, не помню ничего.

— Так те помнят, старики, которые тебя взяли там?

— А бог знает. Может и помнили б, да где они теперь? Старые померли оба, а те пошли своей дорогой, когда отдали меня. Они ходят по своим местам, а мы — по своим. В год, либо в два раза встретимся, да опять разойдёмся.

— А, может быть, до́ма твои родные живы, отец, мать, братья?

— А бог их знает! Нет, говорят, не живы. Все пропали, а война была, и погорели и пропали.

Старухи, обошедши ряд домов, подошла опять к нашим воротам, стояла, ухмыляясь, опёршись на свой посох, будто спрашивая: «Неужто-де беседа ваша всё ещё не кончилась?» Я просил ещё молодую, как её зовут? — Юдвися, — сказала она. Поняв, что это было польское имя Людовика, я спросил ещё, прежнее ли это имя её, или оно дано ей цыганами? — Прежнее, — отвечала она, — так меня звали до́ма; это я помнила, сказала добрым людям, которые меня, сироту, приняли, и так меня с тех пор называют.

Старуха навьючила на Юдвисю полную на обе половину перемётную суму, попробовала ещё, голосом вкрадчивой доверчивости, выпросить ленточку: там спросила: нет ли хоть ломаной подковы или другого старого железа, и, наконец, отправилась с невесткой под свою ятку.

Я рассказывал в течение лета многим посетителям люстровских морских вод об этой мнимой цыганке и о приключениях её. Мы полагали объявить об этом в ведомостях, с тем, что если кто-нибудь из родных её остался в живых, то, может быть, отзовётся и отыщет свою потерянную дочь или сестру под закоптелым шатром цыганского табора. Все цыгане, ныне, по крайней мере, приписаны к какому-либо месту и считаются в сословии казённых или господских крестьян. Я собирался расспросить об этом нашего цыгана, не показывая виду, для чего я это делаю, и не сомневался, что по этим расспросам можно будет, в случае нужды, её отыскать.

В один вечер, когда мы опять, по обыкновению, сидели в надворном палисадничке и пили чай, к нам вошёл хорошо одетый мужчина, лет около тридцати, с усами, с продолговатым польским лицом и статною осанкой, в соломенной широкополой шляпе и цифрованной венгерке. Поклонившись, он сказал мне, с ударением на каждый предпоследний слог: «Извините, я пришёл к вам на пару слов. Я сегодня, сейчас только, слышал о похождениях одной цыганки, или девочки, увезённой в молодости цыганами — и мне сказали, что вы лично её видели и расспрашивали?»

— Точно так, это справедливо.

— Пожалуйста, сделайте одолжение, расскажите мне всё, что вы об ней знаете… я желал бы… она, может быть… видите, у меня когда-то пропала без вести маленькая сестра, и именно при таких обстоятельствах, а здесь рассказывают об этой цыганке: это было в Любартове.

Я ему рассказал всё. Мелочи и подробности, которые она помнила с-издетства своего, а ещё более и самое имя Людовики убедили его, что это должна быть его сестра. Он был зажиточный помещик, приехавший сюда с семейством для купанья. Рассказ мой произвёл в нём сильное волнение; на глазах его навёртывались слёзы. Он был в недоумении, что ему делать, как её разлучить с мужем, и будет ли это доброе дело, составит ли это её счастье?

А куда деваться с ними, если они захотят остаться кочевыми цыганами? А можно ли, слышав всё это, оставить дело без внимания и не заботиться о давно-потерянной и теперь случайно-отысканной сестре? «Наперёд всего, — сказал я, — вам надобно посмотреть на неё и расспросить ей, убедиться в самоличности её — а там… подумайте. «Пойдёмте вместе», сказал он, взяв меня за руку.

Под шатром нашли мы всё в том же виде и порядке, как прежде, но на этот раз Юдвися работала мехами, лёжа между ними на коленях, а муж её ковал. Долго мы стояли, стараясь завязать с нею разговор, но обстоятельства были тому самые неудобные. Товарищ мой, в сильном волнении, уставил глаза на неё и не мог доискаться языка. Заметно было, что старуха и муж её стали как-то беспокойны. Может быть, последний разговор мой с Юдвисей, так живо напомнивший ей давно минувшеё, растревожил её, заставил грустить и задумываться? — И в таком случае, старуха, конечно, жалела, что допустила её до такой беседы; поэтому присутствие наше не могло быть ей приятно; словом, было заметно, что они нас дичились. Я увёл посетителя, и мы сговорились выбрать более удобное время для расспросов. Утром на другой день, мы снова пошли туда, но, дошедши при выход из селения до того места дорожки, откуда виден был цыганский шатёр, нашли только порожнее место. Мы подошли: две ямки — одна, служившая вместо стульев или дивана, потому что в неё ноги ставили; другая, где был горн, обозначали место бывшего тут переносного жилья; более не было никаких следов. Молча побрели мы домой, и товарищ мой всю дорогу не сказал ни одного слова.

1848

СОДЕРЖАНИЕ

ЭПИГРАФЫ КО ВСЕЙ КНИГЕ 5

СУДЬБЫ ОГНЕВЫЕ И ГОРЕВЫЕ. Проза и пьесы

И. С. Тургенев. Страницы «Записок охотника» (*Из рассказов «Чертопханов и Недопюскин» и «Конец Чертопханова»*) 10

В. И. Даль. [Белокурая цыганка]. *Рассказ* 27

Н. С. Лесков. Чертогон. *Повесть* 33

Афанасий Фет. Кактус. *Рассказ* 43

В. М. Гаршин. Медведи. *Рассказ* 50

Иван Бунин. Подторжье. *Рассказ* 63

А. И. Куприн. Фараоново племя. *Очерк* 66

Лев Толстой. Живой труп. *Пьеса* 73

М. И. Пыляев. Старый Петербург (*Главы из книги*) 124

М. С. Соколов-Микитов. Цыган. *Рассказ* 134

Максим Горький. Макар Чудра. *Рассказ* 136

Ярмарка в Голтве (*Фрагмент очерка*) 145

П. Н. Столпянский. [Цыганский хор торжествовал]. *Очерк* 148

Цыганский фильм 1935 года (*Краткое содержание фильма «Последний табор»*) 154

Михаил Касаткин. Персита. *Рассказ о военном героизме юной таборной цыганки* 156

Н. Н. Сотников. Рассказ рождён в палате госпитальной 164

Н. Н. Сотников. Послесловие к рисунку 167

Л. Н. Пугач. [Блокадная цыганка Лиза]. *Этюд* 169

Марианна Сотникова. Конь Орлик. *Рассказ о смелом и умелом цирковом коне и его цыганском друге* 173

Иван Ром-Лебедев. ПУБЛИЦИСТИКА И ДРАМАТУРГИЯ ОТ ЦЫГАНСКОГО ХОРА К ТЕАТРУ «РОМЭН». *(Из записок московского цыгана)*

Незабываемая детская пора 176

Первые встречи 181

«Подруга семиструнная» 191
Рождённые у кочевых костров 192
«Ты какой веры?..» 196
[Мир прекрасен и в отчаянии] 199
Огненные кони. *Музыкальная героико-романтическая повесть* 270
Любовь и скрипка. *Пьеса-сказка* 309

Николай Сличенко. РОДИЛСЯ Я В ТАБОРЕ. *Автобиографическая повесть* 317

ЧТО ЗОЛОТЫЕ СТРУНЫ ПРОПОЮТ. *Цыганские песни и романсы разных лет и веков* 387

Н. Н. Сотников. Послесловие к песням цыганским 393

Владимир Устиновский. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, ТРИДЦАТЬ СТРАН И ОДНА СУДЬБА. *Автобиографическая повесть* 395

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ О СУДЬБЕ ЦЫГАНСКОЙ

Г. Р. Державин. Цыганская пляска 431
А. С. Пушкин. Цыганы. *Поэма* 432
Николай Языков. Весенняя ночь 451
Элегия 451
Евгений Баратынский. [Ночной приезд гостей к цыганам] 452
А. Пальма. Цыганке 452
Н. А. Некрасов. Говорун (*Отрывок из поэмы*) 454
А. К. Толстой. Цыганские песни 454
В. Г. Бенедиктов. Московские цыгане 455
Яков Полонский. Песня цыганки 456
«Подойди ко мне, старушка» 457
Цыганы 458
А. Н. Апухтин. Старая цыганка 459
В. Я. Брюсов. В цыганском таборе 462
Александр Блок. «Натянулись гитарные струны… » 463

Сергей Городецкий. [О прабабке моей цыганке] 464
Илья Сельвинский. Цыганская песня 465
Леонид Хаустов. Уроки оптимизма 466
Бабка 467
Колодец 468
Микера (*Из неоконченной поэмы*) 470
Александр Межиров. «Наш дом всегда для тех открыт… » 471
Эдуард Асадов. Поют цыгане 472
Новелла Матвеева. Развесёлые цыгане. *Песня* 474
Глеб Горбовский. [Великий цыганский народ] 475
Илья Резник. Цыганский хор. *Песня* 476
Рустем Кутуй. Цыгане по деревне! 477

ЦЫГАНЕ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ

Барин-драчун 481
Про цыгана и про попа 482
Поп и цыган 484
Змей и цыган 486
Как цыган обманул бога 487

Н. Н. Сотников. Был такой цирк — цыганский! 489

Николай Ударов. У ЦЫГАНСКОГО КОСТРА. *Цыганская рапсодия*

Стихи, песни, баллады, поэмы о цыганах и цыганском искусстве

Владимир Устиновский. О цыганской книге русского поэта 495
Во снах и наяву мои кочевья 496
Песня о цыганском костре 496
Неуловимый дом родной 497
Табор переждал грозу 499
По следам поэмы «Цыгане» 499
Послесловие к поэме «Цыгане» 500
Как породнились гений и талант 501
Песня о пророчестве ненастья вместо счастья 502
Итальянской современнице Пушкина 504
Песня о вольной воле 505
Монолог старого цыгана 506

Сладкая кровь. *Баллада-быль* ... 506
Прапрадед мой, цыган Никита ... 508
Как чужой табор прабабку удочерил ... 509
Как я с лишним век назад встрече с табором был рад ... 510
«Не сохранилось фото от прабабки!..» ... 511
Заветный цыганский наряд ... 514
Вдаль по млечному пути ... 515
Путешествие на Охту за сто с лишним лет ... 516
Две судьбы́ предстали перед ней ... 517
Песня о моих истоках ... 518
Песня о Весёлом посёлке ... 519
И вновь о Весёлом посёлке ... 520
Песня о довоенной фотографии семейной ... 521
Цыганский праздник ... 522
Цыганская мадонна. *Поэма моего раннего послевоенного детства* ... 522
В моей крови горит огонь цыганский! ... 526
Песня о цыганской песне ... 528
Песня о цыганских праздниках ... 529
Завидна цыганская доля. *Лирическая поэма* ... 530
Песня о стране ***Цыгании*** ... 535
Баллада о негаданном гадании ... 536
Пластинку старую мне подарил приятель ... 537
«Оказалось, что мы — ровесники… » ... 538
Заката нет цыганской песне ... 538
Цыганская песня о вечерней дороге ... 539
«Ах, мой костёр, камин цыганский!..» ... 539
Родословие песенных слов ... 540
«Душу омоет мне песня цыганская… » ... 541
Самое главное ... 541
Послание на дальнюю дорогу ... 4-я страница переплета

Цыганские судьбы в кино — крупным планом ... 543

Николай Сотников. Уходит табор наш за горизонт… *Послесловие* ... 547